Голубая тетрадь

Хана Стейндлерова

SHOUT
SHARE
IT

- Хана Стейндлерова Голубая тетрадь
- Примечания

Хана Стейндлерова Голубая тетрадь

Хроники терезинского гетто

Публикация и комментарии: Елена Макарова, Екатерина Неклюдова

Я сидела в темном углу при свете ретушерской лампочки. Вдруг дверь распахнулась без стука, и вошел Петр. В страшном смятении. «Что случилось?» — «Манди в транспорте». Я уставилась на него — ничего не понимаю: «В транспорте? Что это значит?»

Петр поглядел на меня внимательно, — где я, на каком свете? — и сбивчиво, нервно стал объяснять: «Транспорты — результат регистрации всех пражских евреев, той самой регистрации, которая началась несколько недель тому назад. Это значит, что будут призваны тысячи евреев, по списку, списки составлены в Стешовицком гестапо, и все, похоже, будут эвакуированы в какие-то польские гетто. А это значит — надо оставить все имущество и через два дня, с пятьюдесятью килограммами багажа, явиться на сборный пункт, откуда всех переправят на поезд — и поехали». Я сидела молча, пытаясь понять логический смысл его слов и их последствия.

То есть это значит, что Манди, одна из моих самых остроумных, самых веселых подруг, через два дня покинет Прагу, свой дом, Родину и пойдет с рюкзаком в неизвестность… Почему? Зачем все это? Разве недостаточно того, что нам запретили участие в общественной жизни, запретили покупать в магазинах, запретили участвовать в кружках, что в восемь вечера мы должны быть дома, что нам запрещено уезжать из Праги, и что мы должны носить звезду — знак позора?

Нет, этого недостаточно! Теперь у нас отбирают то последнее, что мы имеем. Наши четыре стены, крышу над головой, постель, всё — и выпихивают нас вон, в неизвестность, в страшные места, в зиму. Почему? За что?

На все это есть четкий и жуткий ответ, смысл его теперь нам понятен:

«Потому что вы евреи».

Потому что мы евреи. Мы не как все. Но разве я не ходила в школу, как Вера Новакова или Ярка Бышицка, разве мой отец не получал такую же зарплату, как его коллеги? Разве у нас не те же интересы, не та же страна, не тот же язык, как у них? Разве у нас не все как у них? Тогда почему не все — «мы», откуда взялось «они» и «мы», как образовалась эта пропасть?

Нет, этому не было объяснения, и размышлять уже было некогда. После тяжелого прощания с Манди, которое было столь же грустным для меня, как и для ее друзей-«арийцев» (я приучаюсь их так называть), последовали все новые и новые транспорты. Один за другим исчезали знакомые. Дети, старики, молодежь плелись, сгибаясь под тяжестью последнего, еще не отнятого имущества, тащились с рюкзаками к воротам печально известного Велетржинского дворца и исчезали за ними, — и больше от них ничего не было слышно. Ничего? Нет, не совсем, через несколько месяцев до нас дошли несколько открыток, взывающих о помощи. Люди, которые… <Обрыв текста.>

…В глазах поплыли черные и фиолетовые круги, я с трудом удерживалась, чтобы не упасть. Люди, где я? В море рюкзаков и мешков нашелся термометр, и вот — 39,1. Меня положили на пол, укрыли всеми нашими пальто, и я плакала и плакала и плакала… В грязи, в паническом ужасе. Так что, приехали, или едем дальше? Из двадцати человек в нашей комнате осталось одиннадцать, наваленных друг на друга так, что не повернуться. Последующие два дня слились в темную неясную картину. Когда я смогла сесть — вот это да! — то увидела вокруг себя совсем других людей, они заняли места тех, кто уехал. Я увидела Альфреда, он сидел на полу у моих ног, увидела, что лежу на чем-то мягком, это была перина. Ее принес Альфред.

Письмо от Марии.

<Дальше вымарано несколько строчек. Текст до конца страницы перечеркнут крест-накрест. Перечеркнутый текст:>

Так началось знакомство с новой реальностью: мы — пленные. И должны приветствовать эсэсовцев и жандармов. Мужчины при виде них должны снять шляпу, женщины — поклониться. Боже, я никогда не забуду то чувство стыда и унижения, которое я испытала, увидев собственного отца, снимающего шляпу перед эсэсовцем. Но никто не умел с таким шиком снимать перед ними шляпу, как Петр.

Главной заботой стала теперь работа. Некоторые группы людей, относящихся к так называемому «Производству», не подлежали отправке с польскими транспортами. В целом, жизнь Терезина организована по схеме, но в ней столько странных тропок и ответвлений — необходимо изучить эту науку, дабы ориентироваться в этом криволинейном пространстве. Познакомилась я и с центральной властью, в Магдебургских казармах: несчетное число дверей с непонятными названиями — «арбайтцентрале», «централэвиденс», «транспортэвиденс», «фамилиенкартай», «транспортляйтунг» и многими другими. Я имела честь познакомиться с «арбайтцентрале», туда мы

обращались с прошением направить нас на работу. По прошествии назначенного срока — десяти дней — я поступила на службу в «местную администрацию», в Гамбургские казармы.

<Конец перечеркнутого текста.>

Про Марию я ничего больше не слышала, но зато ходили слухи о следующих транспортах. Лучше всего было бы просто лечь и спать, ни о чем не думать. Но потом я подумала, что и это сумасшествие, просто надо принять весь этот кошмар как данный нам удел и повернуться к нему лицом.

Я изучала это лицо, лицо гетто, в котором даже высокопоставленные обитатели взывали о помощи.

Это было непонятно, непредставимо, я не могла привыкнуть к мысли, что всей нашей семье — маме, папе, Миле — в какой-то день придется всему этому покориться, сказать судьбе — «С Богом!»

Пока не мы, но другие были в транспорте, я не боялась. Поскольку с «ними» меня ничто не объединяло. Евреи не представляли для меня отдельную общность, я и представить себе не могла, что когда-то буду принадлежать к этой «расе». И только потому, что наша прабабушка не была крещеной! Кроме того у меня не было никакой связи с еврейством, я просто не понимала этого.

Но лавина транспортов продолжалась, круг наших друзей и близких все сужался и сужался, ушли дядя с тетей, становилось все трудней и трудней сносить разлуку, и мы с моей лучшей подругой Марией стали молиться о том, чтобы нас определили в один транспорт. Страннейшая молитва!

Дальше все двигалось в ритме, понедельник — четверг, понедельник — четверг, и мы думали, нет, этим они нас не возьмут, так они нас не сломят.

Три четверти года прошло с того дня, как все это началось. Было лето, июль 1942 года, моя любимая подруга получила повестку на четверговый транспорт, и она попросила меня пойти с ней в Летенские сады, прогуляться напоследок, перед отправкой на сборный пункт. И мы пошли с ней в Летенские сады, поднялись на самый верх и оттуда смотрели на город, прощались с нашей стобашенной Прагой, тяжело было видеть, с какой тоской глядела она в каменное море домов и башен, ласкала взглядом и провожала глазами Тутин, где стоит памятник Освобождения, любимую уличку, где каждый булыжник означал Родину, память о детстве, память о всей нашей жизни.

Притихшие, спускались мы тихими аллеями и улицами вниз, к центру. Было 7 утра. Просыпалась Прага. «В последний раз», — тихо проговорила Эва, а я подумала: «Когда же будет мой

"последний раз"»? Уходя из парка, мы взяли на память по каштану. И так шли мы по тихому утреннему городу, но в душе тишины не было. И вдруг промелькнуло — сегодня снова разносят…

Мауд: Странно, ходить в такое время по Праге! Это было строго-настрого запрещено! Они что, не боялись? Может, они ходили без звезд? Конечно, Прага не Простеёв… За это могли наказать — отправить в «зондер бехандлунг», или на «экстратранспорт», или на «айнзац-транспорт»… Да, пражанки это пражанки, а у нас в Простеёве все были на виду… Может, они спрятали звезды? Звезды… Я тебе рассказывала, как моя мама пришивала звезды? У нас все звезды были на кнопках. Ко всей одежде она нашила по шесть кнопок, звезды можно было прикнопливать, не пришивать каждый раз по новой. Но немцы проверяли. Аккуратно пришита звезда или небрежно. Просовывали между звездой и одеждой карандаш: если проходит — немедленно перешивать! Пришито не по правилам! У них было столько разных идей! С нами, правда, такого не случилось.

И я с какой-то невероятной ясностью ощутила — сегодня наша очередь. И на секунду не было сомнений.

На прощание сжимаю Эвины руки в своих — «Жди меня в Терезине, на вокзале!» — говорю весело, чтобы легче расстаться.

Я сворачиваю на Староместскую площадь, прохожу Старый Город насквозь. Я бегу домой, я знаю, там ждет меня бумага, согласно которой и мне придется распрощаться с домом. В туманной дали виднеется Вацлавская площадь. Я вхожу в подъезд, подметки отсчитывают шестьдесят восемь мощеных ступенек, звоню в дверь «семейным звонком» — и вижу маму, она рыдает в объятиях соседки. Я ничего не спрашиваю, все знаю и так. Транспорт. И вдруг — ощущение легкости. Все, чего мы так боялись, так страшились, уже случилось. Бегу на соседнюю улицу Щтепанску, к Марии.

Мария встречает меня заплаканная, при виде меня она смеется сквозь слезы, мы — в одном транспорте, вместе, но это уже не мы, заметь, а наши номера — и ты не Ханка такая-то и такая-то, а я не Маженка такая-то и такая-то, ты номер и не более того. Наши номера рядом друг с другом.

И начинается — складывание, заворачивание, последние покупки, спешка, суета — божественное счастье — ни секунды нет на размышления, и так настает день отправки и расставаний, (к счастью) я отупела, не плачу, мы в последний раз спускаемся по нашей лестнице, с рюкзаками, — вдоль перил проплывают зареванные лица, исполненные любопытства и тоски. Мила

бросается в плач и тут же получает от мамы затрещину — стыдись!

Судя по вещам, которые у меня в хлебнице, — краски, ручки, кисти, альбом для набросков, тетрадь для записей и любимейшая книга «О Петре и Люции», — самый культурный человек в нашей семье — это «я»! И за это имущество, за мир, упрятанный в хлебницу, я готова сражаться, я никому его не отдам. Мой шуточный лозунг таков — «Номер, но — интеллигентный» AAv 34. Нет больше Ханки. Ворота Велетржинского дворца закрылись за нами. Все, хватит, конец.

Но это было лишь начало. Разом мы лишились дома, постели, всей частной собственности. Женщины, мужчины и дети, тесно прижавшись друг к другу, лежат на матрацах, на полу, но не по одному — по двое, по трое на одном матраце, чужие люди на пыльных грязных матрацах, через которые уже прошло столько транспортов.

Мауд: Это еще хорошо, у нас в Оломоуце и матрацев не было.

Запах пота, пыли и мочи вонючим облаком висел над нашим «лагерем». Старые и слабоумные стонали и «выли на луну».

Тысяча людей, тысяча характеров, тысяча судеб, собранные воедино, просто не могли справиться с такой переменой. Смириться с ней? Смирились. В целом настроение у меня было хорошее, я запретила себе думать, и у меня это получалось.

Но когда нас под охраной эсэсовцев с винтовками, под острыми дулами вели строем — в каждом ряду по восемь человек, — вели как опасное стадо по предрассветной Праге, — расплакалась и я.

Мауд: Всех отправляли перед рассветом, в три часа утра, нас тоже. Чтобы никто не видел.

Поезд понятия не имел, какой груз он везет, он весело мчал по чешской земле, из окна мы видели Жип, Бездец, Хмельники, — и вот конечная остановка, мы выходим. Тащим на себе тяжелые вещи, все наше имущество, пятьдесят дозволенных кг, постепенно ноша становилась легче; согнувшись в три погибели, мы шли по пыльной дороге.

Так путники достигли Терезина, здесь нас ждали с интересом и любопытством. Лица — в окнах, множество лиц. Все всматриваются в нас в попытке увидеть тех, «кого постигла та же участь». Но в их лицах было что-то еще, чего я тогда не могла понять, но поняла потом, — голод и зависть к нам, к тем, кто еще вчера сидел за своим столом и ел свой хлеб.

И вдруг в углу я увидела знакомую личность, в той самой красной рубахе, которую я прежде терпеть не могла. Как же я обрадовалась моему наивернейшему другу — Альфреду! И он

увидел меня! На душе полегчало, даже рюкзак показался легче. В этом лесу чужих любопытствующих лиц объявилось родное лицо — из прежней жизни, словно бы часть «той» жизни перебазировалась сюда, Альфред связал ту и эту воедино.

Засим последовала процедура «приветствия», в организации под названием «шлойска». Это такая машина, в которую входишь человеком, а выходишь гражданином гетто. Что же это такое — быть гражданином гетто? В первую очередь тебя надлежит обчистить, что на языке гетто означает — «сошлюзовать». Есть контрабанда? А что это?

Мыло, спирт сухой и в бутылках, сигареты, деньги, глупости типа зубных щеток и пудрениц, все, что припрятано. И вот уже нет: растительного масла, сахара, колбасы, сдобы. Почему? Потому что досматривающему все эти вещи нужны и потому что он имеет право. А на что он не имеет права? Такого нет, у него право — на все. Есть еще вопросы? Так вот, для будущего заключенного есть один ответ на все: потому что ты еврей. Ясно?

Кроме того, тебе здесь положена «квартира». Получи свою регистрационную карту, сдай документы. Выйдешь отсюда, и больше ничему не будешь удивляться. Даже если услышишь от кого-то, что твой транспорт следует дальше, в Польшу. Да, тот багаж, что ты, моя девочка, сдала в Праге, ты больше не увидишь.

Так попрощаемся и пойдем на экскурсию по нашему гетто!

Отца куда-то отвели, он будет жить отдельно, а я бегу, сжимая в руках свою хлебницу с «культурой» (остальные вещи у мамы в узелке), в «новую квартиру», где мы будем жить вместе с мамой и Милой. Где Мария? Не знаю. Мне теперь на все наплевать. Абсолютно.

Приводят нас в совершенно пустой дом. Что здесь? Стоим как вкопанные промеж голых стен — здесь была чья-то квартира… Вдоль стен и в углах навалены рюкзаки. Выясняется: здесь мы будем спать — лучше всего занять место у стены; выясняется, что здесь, на площади 4х4 метра будет жить двадцать один человек. Но лозунг нам уже известен: «ничему больше не удивляться». Так что садимся на пол, посреди комнаты, — вот-вот разревемся хором, — но тут является наш ангел-хранитель в красной рубахе — Альфред, и берется учить нас, как справиться со всем этим горем. Одежду повесить на гвозди, — и он вбивает в стену пару гвоздей. Спать лучше в углу. С этим ничего не поделаешь. Под голову надо что-нибудь положить, например, умывальные принадлежности. А, у вас забрали! Тогда обувь и одеяло, а, тоже забрали? Тогда пальто. Что, и пальто у вас нет?

Эта его четкость спасла нас. Вернула нам чувство юмора, — юмор висельников — это тоже юмор. Мыться можно во дворе, у

колонки. Свет есть, что-то на потолке мигает, люди, ну что вам еще надо?! Да, если нас можно назвать людьми, — думаю про себя, и иду смотреть на гетто.

Прослушиваю первую лекцию Альфреда: комендант лагеря, д-р Зайдл собственной персоной, велел повесить четырнадцать парней за то, что они послали домой письма, слыхала об этом? А вон тот, кто едет на тракторе, — пожалуйста, отойди с дороги, — уже задавил несколько людей.

Мауд: Да, отца Ципоры Левингеровой задавил Хайндл. Ципора, ты не знаешь Ципору, из киббуца Шомрат?

Раньше из казарм нельзя было выходить, а теперь, когда всех, кто здесь жил до нас, выселили, евреи заняли все дома, нормальные дома, и нам всем стало гораздо легче. Тебе, чтобы войти в казарму, нужен пропуск. Польские транспорты уходят постоянно.

Что это у тебя на лице? А, это мне вчера наш эсэсовец дал по морде. А так они вполне милые. За что? А, слишком громко смеялся… трепал языком. А, тебе еще предстоит встреча с трехэтажными нарами в казармах. <Нрзб>

А… Меня начал раздражать поток невнятных речей.

Как он со мной разговаривает? Как совершенно чужой человек, с которым я никогда не была знакома. Как может он так говорить о повешенных, неужели у него не осталось никаких чувств? Неужели это тот самый Альфред, которого я знала?

Нет! Но тут у него вдруг засветились глаза, и выражение лица совершенно изменилось. Ханка, — говорит тихо, — а что Прага? Расскажи, прошу, как поживает Вацлавак, Влтава, а дом на углу Щтепанской все еще стоит? А что Карлов мост, с ним все в порядке? Ханка, — вздыхает он, — цвет твоих глаз — это цвет пражской мостовой!

И я начинаю понимать ментальность гетто, ментальность заключенного, вникаю…

Уставшая, переполненная впечатлениями, возвращаюсь я к вечеру в нашу комнату, падаю, как бревно, на пол, между потных, тесно прижатых друг к другу тел, укрываюсь пальто, кладу под голову хлебницу, якобы культура, якобы подушка. Это и было моим первым выходом из потемок идеологии в мир реальности.

Утром я проснулась с жуткой головной болью. Встала, и все вокруг закружилось, напрасно я уговаривала себя, что ничего не случилось. В нашей комнате все были объяты страшной паникой — разносили повестки на польский транспорт.

Выяснилось — наигоршая участь постигла наш транспорт. Принесли повестки — тоненькие цветные полоски бумаги. Начальник дома, хаусэльтестер, велел собрать всех на террасе

некогда красивого дома и монотонным голосом зачитал имена. Раздались крики, плач. В транспорте был каждый второй. Я сидела на перевернутом ведре, голова кружилась, и ждала — сейчас прозвучат наши имена. Но нет — мы не в транспорте. В этом супе нас не сварили. Из сотни людей нашего дома — семьдесят в транспорте. «Боже, а что с Марией?!» Собрав последние силы, я пошла к ним, узнать. Это уже не была Щтепанска, 14, куда я бегала узнавать, смогла ли Мария решить пример по арифметике, или позже, когда нас выкинули из школы, и Мария работала портнихой, мы, если выдавалось время, ходили с ней на прогулку, — теперь это был незнакомый двор, как и наш, полный убитых горем людей, размахивающих цветными узкими полосками бумаги. Марии дома не было. Зато ее мама сидела на полу, согнувшись в три погибели, и плакала. Все ясно. «Ханичка, может у тебя есть знакомые, которые могли бы нам помочь, может, твой дядя? Мы подали прошение, но это безнадежно».

Какое прошение? Что в нем можно написать? А дядя?!

И тут до меня дошло — это он нам помог! Почему мы не в транспорте? Потому что дядя здесь уже три четверти года и он это нам устроил. А Мария — с ними что будет? Надо идти к дяде, просить его о помощи. Чтобы они могли здесь остаться, чтобы не ехали дальше. И тут я увидела, насколько бессильна! Ну зачем мы с Марией молились, чтобы попасть в один транспорт, — нас разводит судьба! Никому нет здесь дела до того, что мы с ней дружим с первого класса, что мы самые близкие подруги… Есть Ханка, у Ханки — дядя, и есть Мария, у которой нет никого.

Не помню, как спустилась по лестнице и как оказалась на улице. Я собралась идти к дяде, просить за Марию. Но где его искать? Улицы забиты бледными перепуганными людьми, транспорт… транспорт… Кто-то, толкнув меня в спину, бежал дальше, кто-то бежал прямо нам меня… голова закружилась… Мир изменился…

Казарма, утро, полдень, вечер — бесконечные очереди, люди с мисками в руках стоят в нескончаемой жаре, чтобы получить горсть вонючих гнилых картофелин или миску водянистого супа, — один и тот же суп, имеющий в официально вывешенном меню три разных названия — гороховый, картофельный, чесночный, и еще — картошка с маргарином, — но вечером мы забывали дневные заботы, вечером могли наблюдать, как во дворе казармы играют в футбол.

«Альфред, ты же всегда так любил играть в футбол, чего же здесь не играешь?»

А он смотрит на меня вопросительным взглядом, — смесь удивления, грусти, отупения и иронии: «Потому что я голодный».

Мне стало стыдно. Но на самом деле разве можно насытиться горсткой картошки, притом что половину надо выкинуть, хлеба тоже мало, к тому же он заплесневелый.

Я здесь всего несколько дней и еще не успела проголодаться. Но начинаю понимать, что это такое. Если мой друг после целого рабочего дня не может ни отдохнуть, ни развлечься. Как же так? И все едят так же мало, как ты?

Он стал смеяться и потом мне объяснил:

«Например, элитой здесь являются те, кто работает на кухне, они крадут все, что могут, и ведут себя как важные господа. Сыты не только они, но вся семья и их близкие друзья. На раздаче им кладут в тарелку больше, чем остальным. Они крадут не только готовую пищу, но и продукты. Некоторые потом продают их за деньги.

Здесь есть такие, кому удалось пронести деньги (те, кому удалось обмануть шлойску).

Мауд: Да, кое-кому это удавалось! Например, моя мама рассовала деньги по таким местам… Все, что взяли с собой, мы пронесли в гетто. За 300 крон можно было купить буханку хлеба. Что было в невероятной цене — так это сигареты. Сигареты, деньги, хлеб — вот три самые важные вещи. Этим платили. У того, кто работал в пекарне, был хлеб. Он обменивал его на деньги и покупал сигареты. Где?! Через жандармов. На чешские кроны. Мама носила утягивающий корсаж, она вынула из него прокладки из китового уса, свернула купюры, тоненько-тоненько, обернула прокладки и вшила их на место, под материю. То же самое она проделала со шляпами и мужскими поясами. Как-то раз, когда деньги уже не были столь страшным криминалом, мама переложила какую-то часть купюр внутрь Кармелиной куклы. И тут вошли берушки, из комнаты все выбежали, осталась одна Кармела, у нее была высокая температура и она лежала с куклой на полу. И они не тронули куклу, нам повезло.

Елена Макарова: Откуда приходили берушки?

Мауд: Из Литомержиц.

Е. М.: А как они могли пройти в гетто?

Мауд: Как? Им разрешалось. Легально. Им говорили — приходите и ищите. Это были судетские немки, кошмарные, с тюрбанами на головах, волосы зачесаны кверху, — тогда была такая мода, а сами маленькие, крепенькие. Они имели право войти в любую комнату…

Е. М.: А вы не могли их прогнать?

Мауд: Что ты, мы их так боялись! Зато в 1945 году, после победы, они мыли в Терезине тифозные уборные. Ох, разыгрывается астма!

Кто сумел остаться при деньгах, — а таких мало, после всех досмотров и грабежей, — тот и пан. Кто не ворует — тот голодает. Если кто-то крадет, чтобы накормить семью, — это в порядке. Но тот, кто торгует краденым, — это уж точно мерзкий тип».

Выслушав столь серьезную и поучительную речь я впервые повела себя как настоящий гражданин гетто: «А ты не можешь получить работу на кухне?»

«Это невероятно сложно. Нужна огромная протекция в центре, там, где распределяют на работу. Послушай, как ты думаешь, где работает твой дядюшка?»

Я была потрясена — наверное, там.

Больше мы на эту тему не говорили.

За то время, что мы здесь, ушли еще два транспорта, и — о чудо! — нас в списках не было. Чудо? Нет — еще одно подтверждение, что Альфред прав. Я поговорила с дядей, плюс личные связи Альфреда, — и его перевели работать на кухню.

И это немедленно сработало: как-то после обеда Альфред принес мне полную миску картошки. Я готова была сквозь землю провалиться. В другой раз он принес подливку. И так пошло. И когда мы пошли с Альфредом прогуляться, я уже ни о чем не могла думать, кроме как что он ухаживает за мной в благодарность за то, что я помогла ему устроиться, а я, в обмен на то, что он приносит мне еду, должна быть с ним ласкова.

Мы как бы угробили нашу дружбу. Это был самый великолепный парень из всех моих знакомых, но я не могла избавиться от этого гнусного ощущения, не могла заставить себя его любить.

Как-то во время футбола я убежала от него и пошла гулять со своей сестрой и ее компанией. Не помню, с чего вдруг зашла речь об Альфреде.

Я сказала, что он очень хороший парень.

Тут один из присутствующих скривил физиономию и произнес:

«Хороший? Он повар?»

Этим было все сказано, это было последней каплей в море моего беспокойства, я утвердилась в своем недоверии к Альфреду и, как я потом поняла, была не права.

Из-за какой-то глупости я поспорила с Альфредом, — спорить я умею, — и это положило конец нашей дружбе. А я получила возможность как следует познакомиться с тем, с чем я пока еще не успела познакомиться, — с голодом.

И произошло это быстро. Все наши запасы быстро подошли к концу, ничего не осталось. Одни талоны.

Мауд: Моя мама поступила иначе, она все попрятала и ничего нам не давала, выпросить было невозможно. После того как бабушку отправили, у нас осталось три чемодана, мамин, бабушкин и Кармелин, они служили кроватью, все продукты были внутри. Друг у друга люди не воровали, такого не было.

Е. М.: А берушки?

Мауд: Берушки — дело другое. Что у нас было? Старые высохшие сладости. В принципе, все брали с собой сухари, супной порошок, заправки. А молоко вареное с сахаром, — как мы упрашивали маму, мама, ну хоть ложечку одну, — и мама, конечно, давала нам, по чуть-чуть, так, чтобы не остались мы в ситуации Ханы и ее родителей, чтобы всегда оставалась последняя капля, а для этого нужны были огромные терпение и выдержка. Самое простое — съесть все разом. Детям в Гиват Хаиме я рассказывала: вот мы раз в неделю накупаем полную тележку продуктов. А сколько можно взять с собой, если на каждого полагается по 50 кг? Ну, 30 кг еды на четверых, — и это надо распределить на три года! Семья Ханы, видимо, была настроена более оптимистично, вот и осталась ни с чем.

Так во мне возникли новые ощущения — я почувствовала, что у меня есть желудок, пустой, как барабан, и он звучит, поначалу он издавал смешные, а потом и вовсе не смешные звуки. В одиннадцать утра у меня начинает болеть голова, и так до обеда. Желудок требует пищи, а дать ему нечего. После обеда до 3-4 часов все успокаивалось, а потом все начиналось снова. Перед тем, как лечь спать, я выпивала эрзац кофе и съедала два прозрачных куска хлеба. (Резка хлеба стала тут искусством, и о том, как правильно резать хлеб и как правильно его съедать, мы вели долгие вечерние дискуссии.) Но, как выяснилось, хлеба, что с ним ни делай, какие чудесные методы к его резке ни применяй, — не прибавлялось. Люди изыскивали любую возможность — покупали его за еду, одежду, обувь, белье, продавали все, что только можно. За хлеб отдавали все. Но у нас не было ничего, что бы мы могли отдать. Мы с Милой могли бы как-то устроиться, но родители! Они страшно худели. Как-то я случайно увидела их на улице, при ярком освещении, — передо мной стояли два старика, изнуренные голодом. Сердце мое наполнилось жалостью к ним и ненавистью к виновникам нашего несчастья, к тем, кто посадил нас в эту тюрьму. Но это была не только ненависть к врагам, свойственная нам всем, это была ненависть к местному начальству, у которого есть, что есть. Эта ненависть попросту называется пролетарской яростью. Я стала размышлять о социальном неравенстве и разделении между людьми, но от этого стало еще горше, а голод — еще сильней.

Я выбежала из дому, чтобы удержаться от преступления, не отрезать себе маленький ломтик хлеба. Я убегала от маминого исхудавшего лица, это уже была не прежняя мама, парящая над реальностью. Память делает свое дело, дух утомлен, затуманен. Нас, молодых, все это касалось, скорее, физически, у старшего поколения страдала психика. Наблюдать это было так тяжело. Куда проще проводить все дни в красильной мастерской, куда я с таким трудом устроилась, правда, работа оказалась неинтересной и страшно меня раздражала.

Как-то я стояла в очереди за обедом и разглядывала рабочих, стариков, старух — людей всевозможного толка, — все они маленькими шажками продвигались к одной цели — раздаточному окну, солнце светило вовсю. Вдруг в глазах все стало двоиться, расплываться, у меня закружилась голова. Наверное, — подумала я, — все это от жары и от голода. Чтобы удержать равновесие, я пыталась сконцентрировать свое зрение на каком-то предмете. Но тут нахлынула темнота, я уж ничего не видела и в двух шагах от себя. Глаза горели и слезились.

Как-то я добралась до стены, постояла, и вдруг опять возник свет, я увидела туманные фигуры, одна из них вдруг подала голос, это был голос мамы. У моей мамы дар от Бога — появляться именно там и тогда, где она больше всего нужна. Мама взяла меня за подмышки и, жутко перепуганная, повела домой. В глазах все еще продолжало двоиться, но я видела немного лучше и утешала и себя и ее, что это просто воспаление на глазах и что от нескольких капель борного раствора все пройдет. Но отец в это не поверил и погнал меня утром к глазному врачу. Я стала убеждать туманную фигуру в белом, что у меня простое воспаление, катар… Он слушал меня и вдруг резко оборвал: «Катар! Это, барышня, тяжелое двустороннее воспаление роговицы! Болезнь, которая не переносит света. Каждый день будешь приходить ко мне на процедуры, глаза должны быть постоянно завязаны, чем меньше света, тем лучше, это очень опасно, барышня!» Я доверилась доктору и, когда меня вели по лестнице, спросила медбрата, что такое роговица. Он ответил обходительно и четко: «Ну, это от недостатка витаминов, от этой болезни можно ослепнуть. Но наш доктор — молодец, он тебя спасет».

Настали тяжелые дни. Такая боль, словно огонь изнутри выжигает глаза. Лежала я, как можно глубже уткнувшись головой в подушку, свет был просто непереносим. Когда боль чуть отлегла, появилось время для размышлений. Сначала все было — безнадега и отчаянье, но постепенно, путем витиеватой философии, я пришла к выводу, что только воля, отвага, надежда

и решительность дадут силы все это выдержать и, может, даже улучшить. Прежде всего нужно уйти с работы, которая вредит и мне самой, и моим способностям. Если дома я могла зарабатывать рисованием, то нечего мне и здесь изнурять себя раскрашиванием уродливых книжных закладок. Буду изо всех сил бороться с голодом, не допускать его ни к себе, ни к Миле, ни к родителям. Главное, не отчаиваться и надеяться. Вот так нужно жить! «Нужно» — мой новый лозунг. Нужно иметь приятные планы на будущее. Хотя строить планы мне всегда было легче, чем выполнять. Теперь я должна научиться их реализовывать.

Через две недели я уже могла ходить. Свет прояснялся, контуры приобретали ясность. И в один прекрасный день я смогла прочесть надпись на стене у ординаторской — «Уборка — обязанность каждого», буквы — с палец высотой. Не помню, чтобы я когда-нибудь была так счастлива и горда собой! Вот уже четыре недели как я пыталась прочесть эту надпись и думала, что никогда не смогу, а тут вижу — и так четко! И доктор обрадовался, сказал — ты здорова.

Вперед — на работу! Но сперва нужно было определиться. План уйти из красильни был реализован в первый же день, и жизнь сразу изменилась к лучшему. Мне нашли место в художественно-промысловом отделении, где у меня появилась не только возможность, но и обязанность делать наброски. Довольно скоро мне удалось пробиться сквозь стену чужих взглядов, — встретили меня не очень дружелюбно. Нас было двадцать человек, в большинстве — девушки и женщины. Я изо всех сил старалась держаться на уровне, вскоре у нас возникли бурные дебаты на тему искусства, да и обо всем на свете. Я возвращалась домой усталая, рисование вернуло мне забытое чувство душевного насыщения. В эти восемь часов работы гетто, голод, заключение и прочие несчастья переставали существовать. Дома, в переполненной темной комнате, на меня снова накатывала тоска. В конце концов моей сестре удалось помочь семье. Она работала в прачечной, в пересменку успевала разным людям стирать вещи, за что получала от них то кусок хлеба, то пару кубиков маргарина, то дополнительный талон на вечерний суп. Полностью унять голод было невозможно, но можно было облегчить.

В это время в гетто стали приходить посылки с воли, нам не пришла ни одна. Наши знакомые понятия не имели о том, где мы, открытки до адресатов доходили редко. В конце концов нам удалось переправить письмо нелегальным образом, за что можно было получить страшное наказание. К счастью, этого не произошло, но и письмо, похоже, не дошло, ответа мы не

получили. Мы были в Чехии, на Родине, и при этом полностью отгороженные от всех и вся. Вокруг лежали поля с деревьями, луга и белые дороги, вдали виднелась гора Жип. Человек прикладывал ладонь ко лбу козырьком, смотрел вдаль, тоскуя по любимой Праге, но стоило опустить глаза — и его как молнией пронзало зрелище колючей проволоки. Крепостные валы были единственным разрешенным местом для прогулок, и мы ходили туда, измученные тоской о свободе. Потом мы спускались вниз, проходили по улицам гетто, из окон полуподвалов, набитых людьми, несло жутким запахом старости и голода.

Мауд: Ты знаешь, что в такие места — в магазины и на чердаки — селили в основном стариков, я никогда не видела там молодых людей.

Кровавые поносы увеличивали смертность, умирало уже по 120 людей в день, телеги, на которых прежде перевозили продукты, теперь были гружены мертвецами, их тела покрывали старыми завшивленными одеялами. Горе правило городом и, в первую очередь, захватывало стариков. Убогие, униженные, они покорно молили о капле супа. Жара не спадала, в городе стояла пыль, всевозможные инфекции распространялись уже не только среди стариков, но и молодых, особенно тиф. Видеть умирающих стариков все-таки не так страшно, как умирающих молодых людей, у которых еще было будущее, — теперь умирали и они.

Страх завладел городом, страшный мор. В один и тот же день у многих из моих близких подруг и друзей вспыхнула высокая температура, начался понос. Больных спешно изолировали в инфекционную больницу, многие умирали.

Наконец жара ослабевает, дело идет к осени. Эпидемия постепенно спадает, оставляя после себя горюющих людей, потерявших своих близких, тех, кто так оголодали, что не смогли справиться с болезнью. Люди устали жить в этом страшном мире непрекращающейся войны, в постоянном страхе о том, что их ждет завтра, — будет ли еда, будем ли мы здесь.

После грустного, дружеского Рождества снова транспорт. И все это продолжается бесконечно: голод и связанное с ним жуткое настроение, сплетни, деморализация, болезни, транспорты, неясность ситуации, страх, война, безнадежность. Я работаю, чтобы работать и забыть обо всем. Ходим в одежде, оставшейся от умерших, одежда вся черная.

Вспоминаю Полиану и ее «миссионерские бочки». Работая на разборке «посылок», Мила расплакалась от унижения, мы привыкли носить рвань, я ходила в старых брюках, мешковатом свитере, поверх пиджак, обувь или натирала ноги, или протекала. Мне было все равно. Такие вещи, как теплые брюки, рукавицы

или конфеты, достать можно было лишь при одной возможности — если прислуживать эсэсовским женам или любовницам. Но об этом я не думала и думать не желала.

Я знала, что отупела, но и это мне было все равно. Я не принимала и не желала принимать отчаянье Петра; наконец, он смог поговорить со мной нормально и указать мне на дорогу, которая выведет меня из делириума беды.

Пришла зима, наконец-то и мы получили посылку. Как мы радовались каждому листу бумаги, каждой баночке с горчицей, каждому куску хлеба, который столько значил для нас.

Но недолго продлилось наше беззаботное состояние. Заболела Мила. Обострилась ее старая болезнь — сначала в ухе кололо, затем началось воспаление, бедная, терпеливая Мила проплакала от боли всю ночь, и мы не знали, как помочь ей. Наконец нашелся врач и сказал — после обеда будем ее оперировать. Никогда не забуду, как мы все сидели на лестнице Верхлабских казарм, превращенных в больницу, вода, капающая из водопроводного крана, отсчитывала бесконечное время ожидания перед белыми дверями. За ними Мила. Я так боялась, но в конце концов после часа или двух двери открылись и вышел врач. На его лице отражалось физическое и душевное изнеможение. «Теперь все в порядке, еще бы четверть миллиметра, и дошло бы до оболочки мозга — и…»

Мы пошли с мамой домой, не было сил ни говорить, ни думать.

Первый визит в больницу. Мила изменилась — бледное лицо в повязке смотрело на нас, но что еще хуже, нерв левой половины лица был задет, мышцы потеряли чувствительность, левая сторона была перекошена и неподвижна. Я изо всех сил старалась делать вид, что ничего не замечаю, но на лестнице я разрыдалась. И это — Мила? Но прошло время — и лицо выровнялось и рана зажила. Позже мы узнали, что и у врача не было особой надежды: четверть миллиметра — и не было бы у меня сестры. Я не могла себе представить, как бы я жила без Милы, без наших разговоров, полных взаимопонимания, теперь я это оценила сильнее, чем прежде.

И тут неприятность — нашу мастерскую закрыли, пришел конец моему рисованию. Мастерскую переделали в фабрику по производству вещей из кожи и бумаги, и я из гордой художницы превратилась в наипростейшую и наискучнейшую служащую, которая просиживает целый день у кастрюли с клеем.

А на улице все было ярким, цветным… Удар, меня постигший, я перенесла относительно легко, я все еще была под влиянием чудесного исцеления моей Милы, рожденной заново.

И тут — новый удар — транспорт, самый страшный из всех ударов. Первый транспорт — горе постигло и нашу семью — Мила получила повестку.

У меня сердце упало. И естественной мыслью было — едем вместе. И на это я получила никогда мною так и не понятый, никогда мною так и не принятый, никогда мною так и не прощенный ответ — «Не едем». Может, родители сошли с ума? Как можно отпускать от себя Милу? Я спорила с ними — бесполезно. «Не едем. Трое не могут сопровождать одного. Милена взрослая, мы тебя с ней не отпустим, останешься с нами». И это говорят мои родители? Уважаемые люди? Что с ними случилось?

Мила принимала это как нечто само собой разумеющееся. Все сошли с ума, мир перевернулся, меня никто не понимает. Как я могу остаться здесь без Милы?

При этом упаковывались, складывались вещи. Без нас. Мила все сама. Мысль, что я останусь без Милы, не была такой страшной, как та, что она поедет одна.

День отправки помню как сквозь сон. Место сбора было в пыльных казарменных дворах, опаленных жестоким сентябрьским солнцем, все сидели на мешках и рюкзаках, разбросанных там и сям по земле, — отчужденные, отчаявшиеся, собранные в дорогу люди. И Мила. Наша Мила. В зеленой блузке и костюме. Я не верила своим глазам, не верила судьбе, как могло это случиться?

Настал вечер, первый вечер, когда Мила, моя сестра, должна будет спать под открытым небом, на рюкзаке, а я — в нашей переполненной комнате.

Потому что она едет, а мы — нет.

При мысли о том, что будет с Милой, меня охватывало отчаянье. И я говорила с Милой как можно веселей и беззаботней.

«Понимаешь, видимо, так и должно быть. Это путь к самостоятельности».

Боже, спасибо тебе за то, что мы тогда не знали, что это путь не к самостоятельности, а к мученической, нечеловеческой смерти.

Не могу писать дальше. Все кончилось у рельс пожатием рук, «в точке кипения».

Комментариев нет, — не могу.

Поезд ушел, Мила исчезла. Вначале было ощущение полной опустошенности, потом, после страшного последнего письма (со словами «тетю голод я вижу каждый день, Ханка, будь лучше») все словно бы провалилось… Была у меня сестра. Или продолжать надеяться? Это было бы чудо…

И один вопрос. Мила? Первое время после отъезда Милы для

меня было стихийным бедствием. Все мелкие радости пресекались мыслью о Миле. Почему она не здесь? Мы с мамой все время плакали, не было у нас никаких желаний. Ни рисование, ни Петр, ничто не могло…

<Рукопись обрывается.>

Перевод с чешского: Елена Макарова

Примечания

1. Источник: архив Яд Вашем, 64.1 (PT 5471). Текст не датирован.

2.Петр Кин (1.1.1919 — 16.10.1944), художник, поэт, дальний родственник Ханы. В Праге она посещала рисовальные курсы Петра Кина, в Терезине он тоже помогал ей как мог. Воспоминания Ханы о Петре Кине приводятся в статье «Petr Kien» (Terezinske Studie a dokumenty 2000, Academia, Institut Terezinske Iniciativy).

3.Mariana Koppelova, род. 27.12.1921, депортирована в гетто Лодзь 3.11.1941, погибла.

4.Здесь и далее подчеркнуто в соответствии с оригиналом.

5.Здесь и далее текстологические пометки публикаторов даны в угловых скобках.

6.Alfred Kantor, художник, род. 7.11.1923, депортирован в Терезин 4.12.1941, в Освенцим — 15.12.1943, выжил, эмигрировал в Америку.

7.Marie Steinova, род. 3.5.1926, депортирована в Терезин 30.7.1942, из Терезина в Малый Тростинец — 4.8.1942, погибла.

8.Arbeitszentrale — Центральный отдел распределения рабочих мест в Терезине; Zentralevidenz — Отдел учета рабочих мест; Transportevidenz — Отдел составления транспортных списков; Familienkartei — Отдел регистрации семей; Transportleitung — Транспортное управление.

9. Термины, обозначающие внеочередное включение человека в транспорт в Терезин.

10.Текст чешской рукописи Ханы Стейндлеровой был очень неразборчивым, с пропусками и перерывами. Мы обратились за помощью к Мауд (Михаль) Бер, бывшей узнице Терезина. Читая дневник вслух, она сделала несколько комментариев, которые даются петитом прямо в тексте. Мауд (Михаль) Бер, родилась в 1929 в Простеёве (Моравия). Летом 1942 отправлена в Терезин. Мауд пережила войну, вместе с матерью и сестрой репатриировалась в Палестину вскоре после войны. Живет в Тель-Авиве.

11.Оломоуц — город в Моравии, где находился сборный пункт для евреев всего округа.

12.Зигфрид Зайдл (1911 — 1947), хауптштурмфюрер, комендант Терезина до лета 1943, после чего был переведен в лагерь Берген-Бельзен. Имел степень доктора философии. В 1947 в Вене приговорен к смертной казни.

13. Рудольф Хайндл, офицер СС, помощник коменданта.

14. Ципора Нир (в девичестве Левингер), ее отец Леопольд Левингер умер в Терезине 16.11.1943.

15. Josef Steindler, дядя Ханы, род. 5.7.1895, депортирован в Терезин 10.12.1941, погиб в Освенциме 16.10.1944.

16. Кармела — сестра Мауд, живет в Израиле.